

Александр Амфитеатров

Старик Суворин



Александр Валентинович Амфитеатров

Старик Суворин

«Да и вообще, не располагал он к тому, повода не давал, чтобы усчитывать его возраст. „Старик Суворин“ – и баста. А какой старик – шестидесятилетний, семидесятилетний, – не все ли равно, раз он неизменчивый, прочный, вечный? Подобно тому, как мы не замечаем течения времени, пока его поток не набегит на порог какого-нибудь свершения, так точно не примечалось старение „старика Суворина“, пока на его пути не обозначилась вежа смертельной болезни, указавшая ему поворот к могильному холму...»

**Александр Валентинович
Амфитеатров
Старик Суворин**

Невнимательны мы, люди-человеки, к ходу времен и срокам. Живешь-живешь, да вдруг и доживаешь до чего-нибудь такого, что само по себе нисколько не внезапно и должно было быть ожидаемо в порядке вещей, – а вот наступил ему срок исполниться, и стоишь в изумлении:

– Вот тебе раз! Как так? Уже? Может ли быть, чтобы уже? Не ошибка ли? Просто невероятно!

Увы! быстрым летом свершаются времена, и в них, как тати ночные, неслышно подкрадываются сроки.

Столетие Алексея Сергеевича Суворина! Нет, вы подумайте!

Доживи Алексей Сергеевич до нынешней осени... Невероятного в этом допущении ничего нет: сейчас и в политике, и в литературе немало девяностолетних старцев, а расстояние от девяноста до ста не так уж далеко, – почему не допустить и столетней живучести?.. Так, говорю я, доживи он до сегодня, то соединил бы наш век с пушкинским веком: ему было три года, когда Пушкина сразила пуля Дантеса; семь лет, когда от пули Мартынова по-

гиб Лермонтов; смерть Белинского он пережил уже сознательным отроком, кадетом Михайловского корпуса в Воронеже; а смерть Гоголя – восемнадцатилетним юношею, юнкером Дворянского полка, не по званию и не по возрасту начитанным и литературным, усердным сочинителем «Словаря замечательных людей», пылким театралом и уже автором самостоятельных драматических попыток.

Вот какие давние годы и с каким, значит, давним человеком мы имеем дело! И, однако, что хотите, не могу я вообразить себе Алексея Сергеевича ни давним – аж до современности и с Пушкиным, Лермонтовым, Белинским и Гоголем, ни вообще столетним старцем. Правда, и молодым его я тоже не воображаю, потому что зазнал его поздно, когда ему всероссийское имя было «старик Суворин», а возрастом он близился к седьмому десятку. Ему шло быть пожилым и седым. Но кто же дал бы ему тогда его годы?

Да и вообще, не располагал он к тому, повода не давал, чтобы учитывать его возраст. «Старик Суворин» – и баста. А какой старик –

шестидесятилетний, семидесятилетний, – не все ли равно, раз он неизменчивый, прочный, вечный? Подобно тому, как мы не замечаем течения времени, пока его поток не набежит на порог какого-нибудь свершения, так точно не примечалось старение «старика Суворина», пока на его пути не обозначилась вежа смертельной болезни, указавшая ему поворот к могильному холму.

Алексей Сергеевич скончался (11 августа 1912 г.) семидесяти восьми лет от роду. Но кто – не скажу уже из его товарищей и сверстников, но и из нас, его учеников или его младших сотрудников, даже из его сыновей, а может быть, и внуков, – был моложе его пылкой душою и хватким умом? ненасытно жадным вниманием к живой жизни, способностью и привычкою гореть интересом к ее повседневной текучести? охотою отмечать все ее извивы, уклоны и сбои откликами, соединявшими в себе мудрость многообразного жизненного опыта и обширных познаний с юношески пламенной страстностью? откликами незабвенных «Маленьких писем»?

«Давним» вообразить «старика Суворина»

я не могу потому, что, вопреки хронологическим данным, он никогда не принадлежал прошлому, а всегда был – выразительно и вполне – человеком настоящего. В прошлое, притом всегда очень отдаленное, он совершал только эстетические экскурсии, как любитель истории, психолог, драматург. Жизнь же его была вся – в современности. В каждом моменте своего бытия Суворин служил или громким глашатаем, или точным эхом русской общественной действительности, поборником или противоборцем ее запросов. Был, если позволено будет мне выразиться так тавтологически, современнейшим из современников своей современности.

Значит ли это, что он гнался и ухаживал за современностью, старался ей угодить, потрафлял на нее? Нет. Эту старую песню его многочисленных врагов давно пора забыть. Его современность не была плодом искусственной выделки, он не наиграл ее в профессиональной привычке практика-журналиста. Наигранность, ремесленное письмо, неискренность огорчали и возмущали его в сотрудниках-учениках, не допускал он до гре-

хов искусственности и себя самого. Мог писать, исходя из ошибочной точки зрения, мог, капризно запутавшись в силлогизмах, прийти к ложному выводу и затем отстаивать его с усердием, достойным лучшего применения. Но никогда не писал того, чего в данный момент не думал, во что не верил как в дельное, необходимо потребное в условиях современности. И никогда не упорствовал сознаться в ошибке, обстоятельно ему доказанной.

Да, русская современность была его натурою – материнским чревом, с которым неотрывною пуповиною был связан он, публицист-художник, воистину милостию Божией, и русский, страшно русский, из русских русский человек: крестьянский сын, одаренный всеми достоинствами русского народного характера и, конечно, многими его недостатками. Последними его язвили много, ставя всякое лыко в строку; первые старались отрицать или принимали с обезубнивающими оговорками. Когда история займется «стариком Сувориным» с должным беспристрастием, по документам его деятельности и правдивым показаниям людей, достойных веры,

потому что действительно его знавших, тогда вскроется истина, как мало был понят этот большой человек и как много оклеветан.

Не случайно вышло, что первое свое отроческое устремление к литературе Суворин ознаменовал составлением «Словаря замечательных людей». Тут предчувствие и самоуверенность. Одной из характернейших черт Алексея Сергеевича, пронизавшею красным швом всю его жизнь, является именно его любовь к «замечательному человеку» – крупной личности, сильному характеру, яркому таланту – и искание таковых во всех областях русской культуры. Преимущественно же в наиболее родных и милых сердцу самого Суворина – в литературе и театре.

За пятьдесят лет своей литературной жизни я не встречал человека, – а уж в особенности среди издателей и редакторов, – который бы страстнее Алексея Сергеевича любил литературу, чтит литературную профессию и доброжелательствовал каждому литератору. Не говорю уже о тех счастливицах, чьи дарования представлялись ему заслуживающими особого внимания и поддержки. Чтобы не слыш-

ком распространяться, я воспользуюсь здесь авторитетным пером писателя, который более, чем кто-либо другой в литературе, испытал на себе благодетельность свойственной Суворину энтузиастической «влюбленности».

«Этот человек (А. С. Суворин. – [А. А.] относительно меня очень заблуждается, – писал 2 января 1889 года Антон Павлович Чехов своему другу и покровителю, старцу-поэту Алексею Николаевичу Плещееву, – он готов ставить и печатать все, что только мне вздумалось бы написать. У него азартная страсть ко всякого рода талантам, и каждый талант он видит не иначе как только в увеличенном виде. Уверяю Вас, что это так. Если бы его воля, то он построил бы хрустальный дворец и поселил бы в нем всех прозаиков, драматургов, поэтов и актрис».

О роли Суворина в жизни Чехова и развитии его таланта много спорили и еще спорят. Долго держалась «либеральная» тенденция умалять ее. Ревнивая не по разуму, полемика пыталась доказывать, будто Чехов только тогда и вырос в настоящего, великого Чехова, когда «порвал» с «реакционером» Сувориным

и, выйдя из-под его влияния и издательской опеки, бросился в объятия новых московских свободолюбивых друзей.

Все это весьма вздорно. Во-первых, Чехов с Сувориным никогда не «порывал», а пребыл в сердечнейшей дружбе до самой своей кончины. Отход от его «Нового времени» отнюдь не был отходом от Суворина. Во-вторых, издательская опека Суворина над Чеховым, выражавшаяся исключительно тем, что Суворин действительно печатал и издавал все, что Чехову угодно было написать, прекратилась опять-таки не по «разрыву», а естественным порядком: как скоро Чехов продал свои сочинения А. Ф. Марксу на условиях, которые Суворину показались непосильными. В-третьих, Чехов, в период московского якобы свободомыслия, решительно ничем – ни на одну йоту – не изменился против Чехова в период «суворинского влияния», якобы реакционного. Напротив: как раз в московском периоде и в лейб-органе московского либерализма «Русской мысли» он напечатал «Мужиков», которые вызвали против него бурю в лагере народников, какой не вызывало ни одно его

произведение суворинского периода.

И, наконец, кто внимательно изучил переписку Чехова с Сувориным, тот знает, что если уж взвешивать их идейное взаимоотношение, то гораздо чаще и властнее Чехов влиял на Суворина, чем Суворин на Чехова. «Татьяна Репина», «Ксения и Лжедмитрий», «Вопрос» – все пьесы Алексея Сергеевича и большинство его беллетристических опытов писались при непрерывных совещаниях с Антоном Павловичем и носят явственные следы поправок и изменений, согласных его замечаниям и указаниям. Равно как такой же явственный след оставили советы Суворина на произведениях Чехова, которые все делались ему известными в рукописи или в корректуре еще долгое время после того, как Чехов перестал печататься в «Новом времени».

Есть другая тенденция – обратная: преувеличенно уверять, будто Суворин «создал Чехова». Это тоже неправда. Создавать Чеховых путем редакторско-издательского доброжелательства и покровительства нельзя. Для того, чтобы вырос орел, нужен орленок, а раз орленок имеется налицо, он и в индюшатнике вы-

растет в орла. Нет никакого сомнения в том, что Чехов – и без Суворина – вырос бы в громадную литературную силу... Но несомненно также и то, что Суворин, быстро угадав в юном Чехове орленка, преклонился пред ним со всем восторгом, на какой только способен был этот несравненный литературный энтузиаст. И с того дня могучая и властная рука Суворина убирала с дороги Чехова едва ли не все камни преткновения и шипы, обычно роняющие ноги молодых писателей.

И орленок рос по-орлиному, а не по-индюшачьи, в такой самостоятельности, свободе и холе, каких не было дано никому из его сверстников. Создал Чехова не Суворин, а сам Чехов, но условия, чтобы Чехов мог себя уверенно создавать, создал, конечно, Суворин. И морально, и материально он – создатель литературной карьеры Чехова. И роль его в этом долгом, стойком, убежденно последовательном процессе воистину прекрасна.

Я взял пример Чехова лишь как наиболее выразительный и яркий. Но ведь его и можно, и должно распространить широчайше. Не знаю, много ли еще остается в живых нас,

«нововременцев» формации 80-90-х годов – «конца века». Я ушел из «Н[ового] вр[емени]» в 1898 году и не знаю его порядков и нравов в XX веке. Но, кто есть жив человек, я уверен, припомнит и подтвердит мои слова. Не было сотрудника, которому «старик Суворин» не старался бы облегчить труд и существование. Вспоминаются три-четыре имени сотрудников, лично ему несимпатичных, даже трудно им переносимых, но – они были литераторы, были даровиты, и этим решилось его отношение к ним, и он их терпел многие годы и, наперекор самому себе, обеспечивал их благополучие. Таких он не приглашал на свои четверги; если бы такой вошел без доклада в его кабинет, – куда вообще-то все ходили без доклада, – то, может быть, старик дико воззрился бы на неожиданного пришельца, с изумленным вопросом на своем бесцеремонном языке:

– Собственно говоря, какого черта вам здесь надо?

Но когда он узнавал, что нелюбимому надо уплатить срочно непосильный долг, либо отправить больную жену в Крым или за грани-

цу, либо внести плату за обучение детей, либо – просто – приспичила очередная житейская нужда, а денег ни гроша, старик не заставлял даже и просить себя, а молча садился к столу и писал записку в контору о выдаче более или менее крупного куша. Считалось, что – в «аванс», который будет потом погашаться вычетами из гонорара или жалованья. Но вычеты или не производились вовсе, или отсрочивались и пересрочивались, а в конце года аванс списывался со счетов.

Так – со всеми. Сотрудник же не только ценный, но и любимый получал – опять-таки без просьб, а как-то само собою, автоматически, – кредит неограниченный. Это уж я по опыту слишком хорошо знаю и вспоминаю – широко, может быть, лучше было бы, если бы немножко поуже. По правде сказать, избаловывал нас Алексей Сергеевич этим безответственным кредитом – из рук вон. Совсем теряли сознание, как это у именитого сотрудника «Нового времени» может не быть денег на очередную потребность или даже прихоть. Работали – что говорить – хорошо, не сидели сложа руки, но тратили еще лучше. Помню,

однажды в ночной беседе Алексей Сергеевич вдруг спросил меня:

– Правда это, будто вы в прошлом году заработали двадцать тысяч рублей?

– Да, около того.

– Собственно говоря, черт знает, какие деньжищи, собственно говоря... А ведь, поди, все просвистали и ничего у вас нет?

– Увы, сама истина глаголет вашими устами.

Старик весело уставился на меня:

– Эх вы! А вот у меня так есть!

– Полагаю! – рассмеялся я.

– Да вы что смеетесь? Сколько, по-вашему, у меня денег?

– Не считал, но – предположительно – несколько миллионов.

– Тридцать тысяч.

Теперь уже я на него уставился изумленно. А он, довольный эффектом, даже языком прищелкнул.

– Да, тридцать тысяч, только и всего, собственно говоря. Не верите?

– Помилуйте, Алексей Сергеевич, да, я думаю, через кассу «Нового времени» в одни

сутки проходит больше тридцати тысяч.

– Касса «Нового времени» и есть касса «Нового времени» – это вздор, собственно говоря. А вот есть у меня – вон в том шкапу – тридцать тысяч, заработанных и отложенных мною в самом начале дела. Эти мои. И я из них сам никогда ничего не беру и другим никому не дам. Это вот мои. А то все – дерьмо собачье, собственно говоря!

Выдержка «никому не дать», однако, и в этой исключительной кассе ему не совсем-то удавалась. Как ни курьезно, но этот широкощедрый, чтобы не сказать – расточительный, человек настолько любил свое маленькое сбереженьице, что иногда поздно ночью, покончив все редакционные дела и свидания, открывал заветный шкапик, чтобы в уединении полюбоваться своим тощим сокровищем и доставить себе удовольствие ревниво пересчитать его. Однажды за этим интимным занятием застал его опозднившийся в редакции сотрудник Аполлон Николаевич Черман (в беллетристике А. Чермный – автор превосходных морских очерков и рассказов).

– Чего вам?! – изумился Алексей Сергеевич.

Черман принес ему какую-то запоздалую корректуру, но – сам рассказывал – при виде открытого шкапчика и старика в роли «скупого рыцаря» с наличными в руках осенился внезапною блистательною мыслью и смиренно произнес:

– Пришел попросить у вас триста авансом.

Алексей Сергеевич смерил его взглядом недоумелым и негодующим: нашел, мол, время! – пожал плечами; но – молча – отделил от пачки три радужные и подал. Черман поблагодарил и удалился, даже забыв, зачем он в самом деле-то приходил.

Внередакционные литературные вспоможения Алексей Сергеевич сыпал направо и налево, но всегда требовал от вспомогаемых строгого секрета. Благодетельствовал так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Оказывал помощь не только своим литературным противникам и недоброжелателям, но и целым предприятиям, о которых заранее знал, что деньги у него возьмут для того, чтобы против него же повести войну. В пример достаточно привести поддержку им «Нового пути» Мережковского, обнаружившуюся

лишь много позже прекращения этого журнала. Литературное дело, затеянное крупным литератором, для Суворина уже само собою оправдывало свое существование и заслуживало сочувствия, независимо от своего направления. Лишь бы имело осмысленную цель.

Не знаю, выстроил ли бы Суворин хрустальный дворец для литераторов, как сулил Антон Чехов, но я уверен, что, будь он министром внутренних дел, первым шагом этого якобы реакционера было бы провести в литературу и журналистику широчайшую свободу печати. Он ненавидел цензуру и цензоров, и «Новое время» было, на моей памяти, едва ли не единственным органом русской большой печати, который не знал той собственной внутренней редакционной цензуры, что составляет великое мертвящее зло всех наших партийных и «направленских» газет и журналов, зло, столь утеснительное, что, право, иной раз недоумеваешь, какая цензура круче вяжет руки, внешняя правительственная или своя внутренняя, доморощенная.

У старика Суворина сотрудник, подписав-

ший под статьей свое ответственное имя, имел право и возможность высказывать свои взгляды и мнения совершенно свободно, не стесняясь уклоном от принятого редакцией курса, ни даже резким с ним расхождением. Это я испытал на себе много раз, в особенности же когда работал в командировках по болгарскому и польскому вопросу. До меня эта область была в руках крутых реакционеров и русификаторов, вроде «Русского странника» (Е. Л. Львова-Кочетова), С. С. Татищева и др. Я, побывав на местах, убедился, что политика эта глубоко ошибочна, и круто перегнул палку в обратную сторону. Мое якобы полонофильство и болгарофильство вызвало бурю в недрах редакции – даже и А. А. Суворин смутился. Но Алексей Сергеевич отстаивал мое право на объективную искренность, и статьи мои появлялись в «Новом времени» без отступления хотя бы в едином слове от рукописей.

А, с другой стороны, припоминая редкие случаи, когда он вмешивался в мое писанье запретом или поправками, я не могу не признать, что он всегда был прав.

Я начал работать в «Новом времени» в 1892 году, а в Петербург перебрался из Москвы в 1896-м. В это время газета определенно шла под националистическим девизом «Россия для русских» и вся сотруди́ческая молодежь, с А. А. Сувориным во главе, состояла из «государственников». Государственником, конечно, был и «старик». Но нередко в нем вспыхивал вдруг ярким огнем радикал 60-х годов, и тогда летели с его уст словечки и фразочки, достойные былого корреспондента герценовского «Колокола», воскресал «Незнакомец» Коршевых «С.-Петербургских ведомостей». В душе он был гораздо либеральнее нас, «восьмидесятников»-государственников, вышедших из притуплявшей школы гр. Д. А. Толстого. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался в усердии равняться направо, старик осаживал: нет, так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью. А в действительности старик просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, жалел опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро

отвечает за литературный вечер.

– Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка, – сказал он мне однажды, – но когда-нибудь вы пожалеете, что ее публиковали.

А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы. Я, обозленный, пришел «ругаться», но Суворин возразил мне с большим чувством:

– Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломить себе шею.

Человек в высшей степени патетический и большой мастер страстного лирического слова, он и в писателях, актерах, художниках искал того же огня, что пылал в его собственной душе. И, не находя, огорчался, сердился, ворчал, негодовал. Да – как!.. В. А. Тихонов, талантливый беллетрист и драматург, страстный театрал, хотел заняться театральной критикой. Чехов, сомневаясь в его способностях к тому, писал ему: «Вы человек рыхлый, чувствительный, уступчивый, склонный до припадков лени, впечатлительный, а все эти качества не годятся для строгого беспристрастного судьи... Когда Суворин видит

плохую пьесу, то он ненавидит автора, а мы с вами только раздражаемся и ноем; из сего я заключаю, что Суворин годится в судьи и в гончие, а нас (меня, вас, Щеглова и проч.) природа сработала так, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами. Едина честь луне, едина солнцу».

С малою даровитостью художника Суворин еще мог примириться за страстную любовь к искусству (терпел же он премьершей в своем театре годами такое странное сценическое недоразумение, как Яворская). Но истинною его любовью было искусство, хотя бы и не слишком шлифованное (он, подобно Тургеневу, не очень-то долюбливал Сару Бернар), но проникнутое искренностью и темпераментом: Стрепетова, Заньковецкая, Орленев (его находка), Джованни Грассо, Эрмете Драконе, в те времена еще не ушедший в виртуозность позднейших лет. Театральными богами Суворина были два трагических совершенства: Элеонора Дузе и Томмазо Сальвини.

Другая чеховская характеристика Суворина, близкая к только что приведенной, – в письме к И. Л. Щеглову (18 июля 1888 г.): «Су-

ворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер на охоте за бекасом, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка – отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше „Суворин-шмерц“ я отлично понимаю».

Этотю болезнью – «Суворин-шмерц» – заболели все мы, писатели-восьмидесятники, к нему приближавшиеся.

– Суворин вас любит, – сказал мне Чехов в 1895 году, – это хорошо. Слушайте же, он не худой старик. Я люблю с ним вдвоем походить ночью по кабинету. Вы любите?

– Очень, когда он в духе.

– Слушайте же, он всегда в духе!

Характеристика как будто не подходящая для человека, часто проводившего целые дни в мизантропической хандре и подписывавшего угрюмые фельетоны псевдонимом «Тимон Афинский». Однако Чехов был прав. Сам по себе, по натуре, Суворин был светел и жизнерадостен. Настроение же его всегда складывалось в зависимости от общества, в котором он находился: скучный гость, нудное заседание, плохой спектакль, глупая статья быстро делали его угрюмым брюзгой. Но если на смену приходил поговорить живой, интересный человек ему по душе, он мгновенно просветлялся и веселел, делался говорливым – и пошел шагать по кабинету и водить с собою собеседника в неумолчном блестящем разговоре *de omni re scibile*... Незабвенные, неповторимые ночи диалогов – в сигарном дыму – до белого утра в окнах!

Повторяю: мне трудно представить себе человека более русского, как в положительных, так в отрицательных чертах характера, чем А. С. Суворин. А в то же время немного на

своём веку встречал я и таких европейских русских: с его чисто западничеством самообразованием и самовоспитанием, с его любовью к западной культуре, к западным странам и народам, западному искусству, с энтузиазмом к Италии и Франции.

В одном разговоре по чисто частному вопросу Алексей Сергеевич, недовольный моим упорным отнекиванием, сердито преподнес мне:

– Вы самодур, как все русские.

– Да уж будто все русские самодуры?

– Все! – закричал он. – Все! От Петра Великого до последнего нищего на улице, все мы, все, все – самодуры, собственно говоря. И, пожалуйста, ангел мой, вы о себе иного не воображайте: и вы самодур, и я самодур, и Леля (А. А. Суворин) самодур: все!

Частную свою жизнь Суворин прожил далеко не счастливым. В молодости его остались жестокие трагедии. Но у него был «счастливый характер» – тот великорусский упругий, всевыносящий характер, что в народе определяется выразительным словом «легкий». Поэтому пережитые трагедии не от-

няли у Суворина ни бодрости, ни живучести, ни радостного отношения к жизни. Способность наслаждаться «сладкою привычкою к жизни» не изменила ему до смертного конца, хотя в последние два года он был лишен самого любимого своего занятия: говорить. А мысль жила и работала, и не угасал интерес к недоступным уже литературе и искусству, критический вкус не слабел. Прочитал толстовского «Хаджи Мурата» и написал на аспидной доске:

– Хорошо, и все же не «Капитанская дочка»!

В каких бы моментах ни вспомнился мне «старик Суворин» – этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы зубы съевший на житейской практике, неутомный создатель огромных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты и проч., и проч., – тем не менее он в конце концов представляется мне – и прежде всего, и после всего – типическим русским мечтателем. В качестве шестидесятника он был воспитанником материалистов, однако таил где-

то на дне души мистическую жажду идеалистических и религиозных позывов, которых даже конфузился, когда они прорывались слишком заметно. Он любил Достоевского и был, по существу, достоевцем. Отсюда и его редкостная чувствительность, с нервической готовностью расплакаться, как дитя, от волнующего разговора, трогательного зрелища или чтения, от сильной эмоции восторга, жалости или негодования.

Да, мечтатель и, пожалуй, даже Альнаскар. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло необыкновенное счастье-уменьше не только строить воздушные замки, очередные планы которых всплывали в его беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял. И в этом-то было его смутное, беспокойное горе, обуревавшее его налетами мизантропии и настроениями Тимона Афинского. И этим обуславливалось его неустойчивое метание от знания к знанию, из одного идейного круга в

другой, от взгляда к взгляду, от человека к человеку, от предприятия к предприятию. Это был человек, созданный из мечты – Дон Жуан мечты, – искатель, творец и ловец неугомною мечтою чего-то, вечно вокруг него витавшего, вечно его манившего, вечно дразнящего, но вечно же неуловимого и так – неуловленным – и оставшегося. Мечтательность – свойство молодости и вместе с тем рецепт ее сохранения. Потому-то и не старился «старик Суворин», и – я уверен – живи он сейчас, то и столетним оказался бы моложе всех нас.